И. А. АВДЕЕВА

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДИСКУРСОВ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ*

Исторические события Новейшей истории четко продемонстрировали тенденцию создания междисциплинарных концептов, которые требуют обозначения границ дискурсивных пространств, где эти концепты реализуются. В настоящий момент в области изучения исторической памяти мы находимся в поле пересечения различных дискурсов, образуемых этими концептами, однако для конструктивного разговора об исторической памяти и уроках истории очень важно выстроить общий конструктивный дискурс и прийти в конечном итоге не только к единому дискурсивному пространству относительно исторических событий, но и к обсуждению исторических уроков, которые до сих пор так и не были выучены. Одной из последних наработок в формировании путей такого дискурса, понимаемого сейчас как самый конструктивный, можно считать идею космополитичной памяти, предложенную в области философии истории и разделяемую рядом европейских и азиатских исследователей. Она строится на уходе от традиционного националистического видения памяти как национального проекта, стремится к отходу от конфликтного деления на своих и чужих, базируется на идеях всеобщего поминовения, примирения и согласия относительно невозможности повторения травматического опыта, совместном дискурсивном и критическом анализе прошлых и настоящих исторических событий и стремлении к пониманию.

Ключевые слова: историческая память, исторический дискурс, прощание, вина, историческая ответственность, историческая этика.

The events in recent history have clearly demonstrated the tendency to create interdisciplinary concepts that require marking the boundaries of discursive

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-18-00421). Организация финансирования – Томский государственный университет.

spaces where these concepts are implemented. At the moment, in the field of studying historical memory, we are at the intersection of various discourses formed by these concepts. However, for a constructive conversation about historical memory and the lessons of history, it is very important to build a common constructive discourse and ultimately come to a single discourse space not only regarding historical events, but also to a discussion of historical lessons that have not yet been learned. One of the latest developments in the formation of the paths of such a discourse, now understood as the most constructive, can be considered the idea of cosmopolitan memory, proposed in the field of philosophy of history and shared by a number of European and Asian researchers. It is based on a departure from the traditional nationalist vision of memory as a national project and seeks to move away from the conflict-generating division into friends and foes, and relies on the ideas of universal remembrance, reconciliation and agreement on the impossibility of repeating traumatic experience, joint discursive and critical analysis of past and present historical events and the pursuit of understanding.

Keywords: *historical memory, historical discourse, forgiveness, guilt, historical responsibility, historical ethics.*

Историческая память и современный гуманитарный дискурс

Тема исторической памяти сейчас вошла в топ самых острых проблем не только исторических, но и междисциплинарных исследований. Это произошло в силу разных, но очевидных причин: во-первых, происходило и происходит осмысление исторических уроков XX в., связанных с двумя мировыми войнами, во-вторых, обсуждение этих уроков в исторической проекции повлекло за собой обращение к урокам еще более давних времен, хотя и не выходящих за пределы границ Нового времени как определенного исторического периода. В этой связи гуманитарные потрясения XX в. называются многими результатом невыученных уроков истории предшествующих веков новоевропейской культуры в целом. Теодор Адорно, задавшийся в «Негативной диалектике» вопросом, как можно писать стихи после Освенцима, потому что «после Освенцима поэзия уже невозможна» [Адорно 2003: 323], или ряд философов (Э. Левинас, Г. Йонас, Ж. Лакан, Дж. Мец, Р. Рубинштейн, С. Лезов, П. Тиллих, Р. Эриксен, Э. Факенгейм и др.), поставивших вопросы о крахе прежних установок гуманитарной культуры,

о кризисе веры, о прощении, виновности и ответственности (П. Рикёр, А. Бадью, К. Ясперс, Х. Арендт и др.), определили глубочайший раскол послевоенной культурной ситуации: по-старому жить нельзя, но как по-новому – мы не знаем или, если быть точным, не можем сказать в прежних терминах. И в этой связи история, вместе с другим гуманитарным знанием о духе, оказалась на переднем крае таких дискуссий о возможностях дальнейших дебатов, поскольку перед историками встала специфическая исследовательская задача – как изучать историю XX в., исходя из невероятной нагруженности фактов ценностной проблематикой, не особо свойственной исторической науке.

Проблема возможностей исторического дискурса относительно исторических уроков прошлого даже не в том, что любая наука имеет дело с идеальным объектом, полученным из эмпирического факта, более чем с самим эмпирическим фактом, но и в том, какие существенные свойства эмпирического объекта переносятся в идеальный, что в конечном итоге определяет сущность и своеобразие идеального объекта. Мы знаем немало примеров того, как одни и те же факты разными историками рассказываются по-разному, поэтому просто знания фактов уже критически мало для исторических исследований касательно исторической памяти. Именно эта проблема сейчас стоит перед историей в связи с изучением, в частности, событий XX в.

Более того, специфика иного объекта в области исторических наук зависит и от того, что сама по себе историческая память привязана к конкретной культуре, к истории конкретного народа, нации, людей, проживающих в определенном государстве, и т. д. Здесь сразу возникает следующая трудность – мы говорим о единой исторической памяти или о некотором множестве различных исторических памятей? Слово «память» множественного числа не имеет, и как тогда должен строиться язык, который передаст содержание феномена? Этот вопрос определения объекта, с которого начинается любое исследование, порождает затруднения не только методологического характера, но также и коммуникативного, или конфликты дискурсивного свойства.

В данном случае, что бы мы ни подразумевали под дискурсом – коммуникацию в самом широком смысле этого слова или вербаль-

но артикулированную форму объективации содержания человеческого сознания [Новая... 2001], – то, что этот дискурс будет регулироваться доминирующей социокультурной традицией и типом рациональности, практически не вызывает сомнений. Поэтому сейчас перед историческими исследованиями в области исторической памяти четко стоит своего рода сверхзадача: определить эту традицию и способы ее формирования в дискурсивных практиках, особо выделяя ее основания и внутренние ценностные посылы. Историческая память – это уже не просто объект научного исследования, это пространство самой культуры и мышления, в которой мы живем сегодня и начинаем любой дискурс. С другой стороны, исторический дискурс – это целый комплекс коммуникативных практик, который формируется внутри культур и государств, живущий сам по себе и лишь опосредованно зависящий от исторической науки. Так на каком же тогда языке должна говорить история сегодня в отношении исторической памяти? На языке независимых фактов вне культурной традиции или, будучи вовлеченной в социокультурный дискурс, искать новый язык для самой себя?

Актуализация этого вопроса особенно остро проявляет себя в случае ожидания от исторической науки указания на причины бед, с тем чтобы не повторился негативный опыт прошлого. Однако под силу ли это истории и существует ли необходимость включения в историю новых векторов построения внутринаучного дискурса – это проблема сегодняшнего дня для всех общественных наук. Более того, если мы посмотрим на содержание современного историко-культурного дискурса по поводу исторических событий недавнего прошлого, масштабно обсуждаемых в широких кругах и в сфере междисциплинарных систем, то заметим еще одну интересную особенность этого дискурса – европейская историческая наука изучает в основном то, что ближе их региональным цивилизационным интересам, а паназийская – их интересам. В Европе гораздо активнее обсуждается Нюрнбергский процесс, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Токийский процесс. К тому же особо выделяется язык, на котором говорят «победители», и язык «побежденных», язык «агрессоров» и язык «жертв». При этом данные дискурсы мало связаны между собой в исследовательских сферах, несмотря на их историческое единство, зато демонстрируют явную политизированность дискутируемых исторических проблем.

Сегодняшнее осмысление опыта Второй мировой войны так и не дало нам ответы, как должна изучаться и осмысливаться историческая память, но можно сказать, что главный вектор все же определен – чтобы это больше не повторилось. После Освенцима и ГУЛАГа, как отмечает В. Подорога [2012], само обстоятельство «после» выступает как морально-нравственный критерий того, что можно обсуждать, а что нельзя или бессмысленно. В этом случае вопрос о том, какой тогда культурный или научный смысл появляется в дискуссиях современных историков о цвете нашивных треугольников, которые носили разные категории обитателей нацистских концлагерей, становится отнюдь не праздным, а вполне претендующим на создание выводов, напрашивающихся с необходимостью конструирования определенных внеисторических результатов. В условиях нехватки этических ресурсов морального осмысления событий [Зубец 2020] перед историческими науками встает задача создания общенаучной базы для изучения исторической памяти с проекциями заложенных в них смыслов.

Различие дискурсивных практик исторической памяти

В настоящее время в практике и теории изучения исторической памяти и в попытках построения дискурса об исторической памяти можно выделить несколько основных тенденций: 1) тема вины/виновности и покаяния, культивируемая сейчас рядом движений и сопровождаемая поисками новых форм как нематериального, так и нематериального искупления и покаяния; 2) идея необходимости посттравматического забвения негативного опыта, предполагающая ряд различных «де-» и призывающая стирать его из памяти; 3) этика культивирования космополитической памяти, основанной на идеалах гуманизма и человечности; 4) и, пожалуй, этика глобальной ответственности перед будущими поколениями, которая не имеет тесной и прямой связи с историческими исследованиями, поэтому речь пойдет главным образом о первых трех.

Как мы можем заметить на примере дискуссий второй половины XX в. (волны денацификации или, например, этапы осмысления холокоста [Александр 2013]), первые две работают подчас весьма избирательно в зависимости от политических амбиций различных групп, что наглядно демонстрируют коммуникативные конфликты

на постсоветском пространстве или пространстве бывшего соцлагеря в Европе. Другой сегодняшний пример построения дискурса в терминах вины, также относящийся к спекулятивной политизации определенного исторического опыта, – это сегодняшнее движение Black Lives Matter. Несмотря на возникновение альтернативного All Lives Matter, скандалы продолжаются не только в публичных сферах, но и в интеллектуальной традиции, сводясь к проблеме построения внятного анализа дискурса и его аргументов относительно происходящего. Примером другого пути построения дискурса может стать, по сути, отрицание самого этого дискурса, что можно заметить в отношении того же BLM. Это уже неоднократно и в разных вариантах происходило относительно создания комплексов национальной вины, подчас вытеснявших по факту сам дискурс об исторической памяти и создававших модификации забвения в русле «ошибок истории» или юридической критики содержания понятия «преступление против человечности». И только ближе к концу XX в. в противовес парадигмам поиска виноватых, претендующих на исключительность и историческую «правоту», стали активно выдвигаться и развиваться альтернативные варианты переосмысления травматического исторического прошлого. Это было началом собственно дискурса об исторической памяти в попытках построения конструктивной коммуникации как внутри научного сообщества, так и в социокультурном пространстве, по мере изживания «шока истории», в том числе отсутствия состояния этого шока у послевоенных поколений.

Вспоминая слова Х. Арендт [2013], что к забвению принуждает террор, мы можем предположить, что и забвение порой способствует появлению новых форм террора, «убивающего» всякий дискурс. Потеря связи с прежним бытием губительна для культуры, но не является ли она идеальной ситуацией построения «объективного» исторического исследования вне ценностных деннотатов или приводит к тому самому разрыву, вследствие которого теряется бытийная эффективность исторической памяти и связь определенных исторических событий с абсолютным Злом, как претерпеваемым, так и причиняемым [Пороховская 2021: 31], что, например, происходило в отдельных случаях доказательства социально-экономической «эффективности» ГУЛАГа или отрицания холоко-

ста как результата национально-политической гиперболизации конкретных событий до масштабов вселенской катастрофы? Таким образом, историческая память основывается на фактах, но по содержанию своему она стремится к их интерпретации и тому, какое отражение находят эти факты в социокультурной традиции и в дальнейшей объективированной практике дискурса после. В той исторической памяти, где остается только факт, этот факт со временем перестает иметь значение для культуры, и, как считает А. Бадью, мы не можем позволить этому миру дойти до состояния, в котором в любой момент, и чем дальше, тем в большей степени, будет возможно оспаривать эти факты [Бадью 2006]. В любом случае, пытаясь найти более широкий содержательный контекст первым двум вышеназванным дискурсивным парадигмам исторической памяти, их можно было бы свести к попыткам обнаружения зла, стигматизации и преследования этого зла в конкретных фигурах и практиках, а также в создании «силы» борьбы с выявленным злом. По этой причине историки наряду с другими гуманитариями несут свою часть ответственности за неучастие в выявлении зла.

Последние же два вектора дискурса, апеллирующие к иному измерению исторической памяти, связывают ее с космополитическим сознанием, делают акцент, скорее, не на национальных образах исторической памяти, а на том, что она не должна строиться на оппозиции «победитель – побежденный» как на оппозиции «враг – друг» или «агрессор – жертва», акцентируют внимание на развитии конструктивного мышления. Здесь возникает и иное понимание исторической ответственности – это не ответственность истории самой по себе за свои промахи, а ответственность всех мыслящих людей. Такое мышление строится на выявлении общих ценностей как коллективных ценностных оснований исторической памяти, но не имеет дело ни с национализацией победы, ни делегированием ответственности, ни с персонализацией вины и покаяния. Космополитичный дискурс наднационален.

Различие дискурсов вины и космополитичной памяти строится также на использовании различных оценочных средств, в частности языкового плана, хотя следует признать, что единой позиции относительно оценочной избирательности дискурсивных практик нет. Есть лишь уверенность в том, что дискурс должен быть убедит-

тельным настолько, чтобы все-таки не повторить то, что так тревожит нашу историческую память. Пока еще не выработано универсальных критериев оценки ни в отношении негативного исторического опыта, ни в отношении позитивного (это задача гуманитарной экспертизы в целом, где также должны сказать свое слово историки). В настоящий момент отсутствие таких критериев нам повсеместно демонстрирует практика спекулирования травматическим историческим опытом в зависимости от сменяющихся политических авторитетов в делах исторического «судейства». Именно подобная спекулятивная политизация посттравм Первой мировой войны способствовала развязыванию Второй мировой. Казалось бы, опыт Первой мировой войны по массовому уничтожению людей не должен был повториться, однако он не только повторился, но и приобрел еще более трагические и немыслимые формы. Для этого уже не годится парадигма «кто виноват» и достаточно ли он наказан, поскольку главным результатом дискурсивных практик об исторической памяти все же следует считать не осуждение и принуждение к вечному покаянию, но, вероятно, новый Нюрнбергский процесс, который должен был бы не раз и навсегда осудить немцев, а осудить войну и всех, кто является ее сторонниками. На практике, безусловно, это сложно представимо, поскольку в русле современных исторических дискуссий вновь и вновь возникают вопросы не только об исторической ответственности агрессоров, но и о необходимости практик «сдерживания агрессора», как, например, в случае Мюнхенского сговора, где уже нет речи об ответственности победителей, также в свое время эффективно не предотвративших распространение нацистской агрессии в Европе.

И если мы пытаемся говорить об исторической памяти в новом ключе, не только открывающем исторические факты, но и предполагающем содержательный рассказ о них, то аргумент исторической ответственности будет касаться не только ответственности историков, но и определенности того, что есть зло, каковы критерии его обнаружения и преодоления, чтобы некое «историческое» зло не создавало другое зло, не продолжалось в новом негативном историческом опыте.

В традиционной бинарной оппозиции «агрессор – жертва» система выстраивания смыслов уже предзадана самой оппозицией, не

предполагающей диалога, но история часто демонстрирует случаи весьма неоднозначных пертурбаций, казалось бы, уже заданных оппозиций, как, например, «Хиросима – Перл Харбор», проблематизируемая, в частности, в работах по исторической памяти ряда японских исследователей. Эта проблематизация строится по пути признания жертв обеих сторон, в силу чего единственным путем построения концепции исторической памяти является путь космополитичного поминовения. Об этом, в частности, пишет профессор Сингапурского университета Хиро Саито [Saito Hiro 2015]. Обращаясь к теме памяти жертв атомных бомбардировок, которая очень долго не встречала понимания вне Японии, и опираясь на идею Ю. Хабермаса [Habermas 1989] о преодолении национализма и отчуждения через коллективный критический дискурс и дебаты историков, Хиро Саито говорит, что в исторической памяти есть два пути памяти как поминовения: националистическая память и космополитическая память. Первая строится на подчеркивании имиджа лишь своей группы и дегуманизации других, на создании исторических образов бессмертных героев нации и игнорировании тех страданий, которые эти герои могли принести другим людям. Открытие чужих Других в горизонтах общечеловеческого в глобализирующемся мире – вот, по его мнению, задача новой парадигмы исторической памяти.

Космополитические аспекты исторической памяти

О возможности построения новых форм истории, включающих Другого и нацеленных на интеграцию взамен национальных монологов о виктимизации, преподносимых в качестве проектов исторической памяти, говорил уже один из теоретиков глобализации У. Бек [Beck *et al.* 2009], настаивая на переходе к транснациональным формам исторической памяти и отказе от прежних национальных мифов.

Безусловно, частный дискурс о холокосте, перешедший в глобальный, сыграл решающую роль в становлении концепции космополитичности исторической памяти. Однако, рассуждая о положении жертв атомных бомбардировок, Хиро Саито вместе с рядом других современных японских философов истории (К. Фудживара, Т. Такахаши и др.) настаивает на выработке новых подходов к пре-

одолению травматического опыта в дискурсе об исторической памяти. На примере сравнительного исследования двух вышеназванных глобальных по своим последствиям исторических событий Хироситао выдвигает предположение, что память в этих двух случаях работает по-разному: память о холокосте инициировала дискурс о противостоянии убийцам и разрушителям, а память о Хиросиме и Нагасаки в силу неоднозначности, в первую очередь для самих же японцев, интерпретации оппозиции «агрессор – жертва», традиционной для подобных дискурсов, этически ставит под вопрос саму войну и выдвигает требование абсолютного мира, наполняя концепт исторической ответственности инициативой борьбы против самой войны и ответственностью за ее прекращение. Войны вызывают всеобщее страдание. Таким образом, вывод очевиден – память об атомных бомбардировках радикально космополитична, хотя и рискует, с одной стороны, через сознание жертвы усилить национализм, и, с другой, чревата сокрытием вины преступника и ответственности за потерпевшего. Это очень болезненная проблема – как сделать так, чтобы перейти к космополитичной памяти и в то же время реализовать принцип справедливости, если еще не все преступники против человечности понесли заслуженное наказание. В современной истории много примеров, когда различия в законодательстве, разночтения, неопределенность статуса участников событий приводили к тому, что многие военные преступники избежали суда, как, например, Й. Менгеле, С. Кунц и др. Или нам все же придется четко обозначить область действия исторической справедливости в зоне частной юридической ответственности и концепцию исторической памяти как результат совместной работы в пространстве культуры и в пространстве идеи общей исторической ответственности, а не только космополитичной памяти.

Более того, когда дело касается именно объективации в дискурсе социально значимого опыта, следует честно сказать, что в этом дискурсе он неравноценен: сегодня слово «Нюрнберг» в языке за пределами науки практически стало синонимично понятиям «справедливость» и «наказание», практически стало нарицательным, однако в случае с Токийским процессом этого не произошло, и о Сиро Исии и отряде 731 знают гораздо меньше людей, чем об Освенциме. Здесь и возникает одна из самых острых проблем в предпо-

лагаемом проекте космополитичного дискурса об исторической памяти – этическая проблема, сопровождающая этот дискурс о том, как признать человечность преступников, не избежав разговора об их вине в одном дискурсе. Это весьма актуальная проблема, которая неоднократно поднимается, например, в ряде современных дискуссий о справедливости определенных форм войны. И как самому историку, работающему в пространстве исторической памяти и ориентированному на выход в проблематику современного историко-политического процесса, обращаться с морально неоднозначными фактами, – эта проблема по-прежнему не имеет четкого решения, кроме явно наметившегося этического сдвига в исторических исследованиях памяти в вопросах о том, как вспоминать прошлое.

Ю. Хабермас предлагает это делать через критику и дебаты историков в постконвенциональном космополитическом пространстве, где идентичности выделяются рефлексивно, но не становятся границами обсуждения. Однако вызывает большие сомнения вопрос о подобной космополитичной политике, с помощью которой будет создаваться мир без врагов, и о том, возможно ли создание наднационального постконвенционального пространства вне привязки исторической памяти к способам национальной идентичности. Как справедливо заметил Ц. Тодоров [Todorov 2003], и история тоже ищет своих героев и своих врагов. Но несмотря на то что память и мемориальные практики сосредоточены на страдании (точка зрения К. Майера [Хлебников, Ассман 2016]), которое является причиной дискурса, сам дискурс должен не останавливаться на этом, а продолжаться. Чтобы выйти из состояния абсолютной легитимизации права победителя на любые действия в отношении побежденного сейчас и впоследствии, распространяя это право на дальнейшие действия, а также для того, чтобы выйти из состояния виктимизации, необходима критическая переоценка как, наверное, самый важный шаг в распутывании исторической проблемы. При этом критический взгляд – не единожды совершенный дискурсивный акт, а постоянная практика. По мнению Ц. Тодорова, исторические эпизоды не должны пересматриваться ни жертвами, ни победителями; историческая память и мемориальные практики должны стать совместным, а не национальным и не государственным проектом, преодолевающим соблазн проводить грань между жерт-

вой и преступником по национальному признаку. При формировании дискурсивного пространства космополитичной памяти следует помнить, что он также подвержен риску национализма, рискуя принять ту логику, которую пытается оспорить. В этом плане необходимо отказаться от роли жертвы и снижать прочие риски, как, например, риск вмешательства третьей стороны для наведения справедливого порядка и ведения правой войны. Новейшая история конца XX – начала XXI в. знает и такие примеры, где логика очевидна: там, где есть агрессор и жертва, должен появиться справедливый судья, имеющий на то моральное право – статус победителя, который он получил в результате прошлого исторического опыта.

Актором ценностей не должны быть ни жертва, ни герой, так как зачастую они не слышат друг друга даже в вопросах признания исторических фактов. Именно таким путем история вслед за предварительным выносит свой окончательный приговор, а критерии должны быть равно законными в отношении всех участвующих сторон. В этом состоит еще одна проблематичная сторона построения дискурса по проблемам исторической памяти – могут ли историки выступать судьями? Вероятно, это невыполнимая задача. Не потому, что здесь проявляется неготовность исторической науки делать это, а потому что вообще невозможно делегировать моральную оценку на кого-то конкретно. Тем не менее мы сталкиваемся с тем, что именно история способна порождать новые этические концепты и развивать старые, такие как концепт ответственности и прощения. Именно историки, изучая прошлое, прокладывают пути для этики настоящего. По мнению У. Галлуа [2016], этизированная история лучше, чем политизированная, особенно в отношении сложных исторических феноменов, где оценочного отношения трудно избежать (таких как историческая память о колониальном прошлом, нацизме, сталинских репрессиях и др., о войне на Балканах или цветных революциях). При этом профессиональный долг историка тоже понимается с позиций этической составляющей дискурса, что также говорит о явном этическом повороте в исторических исследованиях. У. Галлуа особо указывает, что язык, которым пользуются историки, также вызывает дебаты, поскольку сам язык не свободен от оценки даже на лингвистическом уровне. Более того, изучение истории посредством этических категорий стало специфической темой внутри исторических изысканий,

как, например, развитие содержательного воплощения гуманистических установок в культуре эпохи Возрождения или в революциях Нового времени. Зачастую сам язык истории нагружен содержательно «тяжелыми» этическими понятиями, например, уже упомянутые выше «космополитизм», «национализм» и «патриотизм». Современный космополитический подход к построению дискурса об исторической памяти сам по себе создает условия для возникновения этической культуры с опорой на концептуальную разработку применения в истории таких понятий, как ответственность, справедливость, прощение и др., где формы уважения превосходят персонализированные амбиции.

В чем же все-таки искать опору историку и как строить рассказ о фактах не в терминах стигматизации Зла, но в парадигме этической конструктивности? Есть лишь один путь разрешения такой проблемы – критическое отношение корпорации историков к самим себе, в том числе и построение дискурсивного пространства междисциплинарных исследований для адекватного освещения исторических событий в случае исторических преступлений. Путем построения общего дискурса об исторической памяти и исторической ответственности и своего рода мостом, объединяющим дискурс научный и дискурс социокультурный, может стать нечто общее, существующее и объединяющее все, – праксиология общего социального пространства и историческая этика. Космополитическая парадигма исторической памяти, таким образом, строится на критической, дискурсивной и этической составляющих в реализации взаимного желания мира и готовности шага навстречу, отказе от колониалистских притязаний и признании в качестве начала дискурса первичных перформативных актов извинения, означающих общность моральных установок. За ними по этой логике должны следовать соответствующие мемориальные практики примирения и прощения, где амнистия отнюдь не означает амнезию [Рикер 2004]. Таким образом, через преодоление дискурсивных трудностей в практиках и теориях исторической памяти и открытие равнозначного Другого, его языка, установок и интересов, происходит переход от прежних исследовательских парадигм изучения – от исторической памяти как национальной (*memory*) к новой парадигме – синтезу двух и более видов памяти (*commemoration*) в совокупности понимания, поминовения и примирения.

Литература

Адорно Т. Негативная диалектика. М. : Научный мир, 2003.

Александрер Дж. Смыслы социальной жизни: культуросоциология. М. : Праксис, 2013.

Арендт Х. Ответственность и суждение. М. : Ин-т Гайдара, 2013.

Бадью А. Этика. Очерк о сознании зла. СПб. : Machina, 2006.

Галлуа У. Этика и исторические исследования. Эдинбург, 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/5812325/Ethics_and_Historical_Research.

Зубец О. П. Возможна ли моральная философия после Аушвица? // Проблемы этики: философско-этический альманах. Вып. 9. М. : Издатель Воробьев А. В., 2020. С. 31–37.

Новая философская энциклопедия: в 4 т. М. : Мысль, 2001.

Подорога В. Память и забвение (Т. Адорно и время «после» Освенцима) // Новое литературное обозрение. 2012. № 4. С. 109–130.

Пороховская Т. И. Возвращаясь к Холокосту: парадоксы радикального зла // Проблемы этики: философско-этический альманах. Вып. 10. М. : Издатель Воробьев А. В., 2021.

Рикер П. Память, История, Забвение. М. : Изд-во гуманитарной литературы, 2004.

Хлебников Б. Н., Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М. : Литературное обозрение, 2016.

Beck U., Levy D., Sznaider N. 2009. Cosmopolitanization of Memory: The Politics of Forgiveness and Restitution // *Cosmopolitanism in Practice* / ed. by M. Nowicka, N. Rovisco. Surrey : Ashgate. Pp. 111–28.

Habermas J. 1989. *The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate*. Cambridge, MA : MIT Press.

Saito Hiro. The A-bomb Victims' Plea for Cosmopolitan Commemoration [Электронный ресурс] : Thesis Eleven. 2015. No. 129(1). Pp. 72–88. DOI: 10.1177/0725513615592983. URL: https://www.researchgate.net/publication/281480888_The_A-bomb_victims'_plea_for_cosmopolitan_commemoration.

Todorov T. 2003. *Hope and Memory: Lessons from the Twentieth Century*. Princeton : Princeton University Press.